

Саша

Вовчок Марко

I

Я ее давно-давно знаю: мы из одной деревни; вместе в куклы игравали. Уж какая она была искренняя, какая сердечная девочка, скажу вам! Как подружится с кем, полюбит — рада душу отдать; в глаза смотрит; пожелай чего-нибудь я — угадает, угодит. Мы с ней слюбились крепко. Бывало, она мне все свое отдает; и не прошу — сама отдает: и куклы, и сережки свои,— все, все, да только улыбается, на меня глядя.

Девочки другие и начнут дразнить ее, подсмеиваться:

— Раздарила, теперь у самой ничего нету! А постарше, те ее бездомовницею называют.

— Вот,— говорят,— будет из тебя хозяйка путная! Соберешь домок!

И мать ей часто за это выговаривала и грозила, а она все только усмешается.

— Ну, не жалко тебе раздавать-то все?

— Чего жалко? Я ее люблю,— что ж тут жалеть? Не жалко...

II

Нам пошел пятнадцатый год — однолетки мы с нею,— как вышла наша барышня замуж. А она была, наша барышня, уж не в первом цвету. Много книжек читала, и нравом была строптива: на соседей косилась, на людей гневалась. Жениха не находилось ей, дружбы ни с кем не водила. Худела да желтела над книжками.

Лет уж ей за тридцать было, когда приехал ее братец в гости из губернии, а с ним высокий барин, этакой круглолицый да видный из себя, спокойный, довольный; все поглаживает себя рукою по подбородку да расхаживает с трубкою мерным шагом.

Первые-то дни барышня хоть и понарядней приделась, да в разговоры с приезжим гостем не пускалась; а он поклонится утром, спросит о здоровье и ею тож не занимается.

Барин только часто на них поглядывал (этакие у него глазки были пронзительные, узенькие, черные; лукавый очень вид имел и хитрый), поглядывал, да вечером раз, обнявши сестрицу, долго с нею по комнатам ходил и все о чем-то толковал-толковал, словно советовал, образумливал.

Барышня задумчиво пришла в свою комнату, и долго думала она, думала и вздыхала.

С той поры она ласковей с приезжим стала, и все вместе они с ним и гуляют, и за обедом рядышком сидят. А как собрался он выезжать, барышня наша в слезы ударилась. Братец насупился. Приезжий все это видит; самому ему жалко стало, не то — скучно; махнул он рукою да и посватался.

Свадьбу сыграли, не откладывая, и поехали молодые на житье в губернию.

III

Молодой барыне захотелось из своей деревни служанку себе взять. «На что мне чужую, когда свои есть? Чужой надо плату, да еще какая слуга попадется,— нанятую не научишь».

Выбрала она Сашу: смысленнее, проворнее всех она ей показалась. Взяли Сашу и увезли с собою. Отец, мать, сестры — все остались, одна Саша поехала на чужую сторону.

Очень я плакала, провожаячи. А она прижимает меня к себе: «Не забуду, не забуду тебя!»

Уехала она, и мало к нам вестей доходило. Так год прошел. Вдруг недобрые слухи о Саше стали носиться. Мать хоть плачет, хоть тужит, а все верить ей не хочется. Отец черней тучи и слова о Саше своей любимой не промолвит. Сестры услышат про нее — краснеют. Судят-рядят люди, а все еще никто наверно сказать ничего не может. Вот тогда-то меня потребовали к молодой барыне. Шлют меня к ней в губернию.

Пришла я прощаться к Сашину отцу и спрашиваю:

— Что прикажете Саше?

— Да не знаю и сам, что ей приказать,— отвечает,— благословить ли мне ее или проклясть свою дочку!

Стоит, руки скрестил и в окошко глядит.

А мать со мной вышла, слезами заливается, провожает за ворота.

— Благословляю я! Скажи ты Саше, что мать благословляет... Скажи, чтобы богу молилась...

Сестры повыбегали себе за мною:

— Кланяйся сестре! Кланяйся Саше нашей!

IV

Тяжело ведь отбиться од роду, от своей стороны,— кто этого не знает! Еду я к барыне, да все про Сашу думаю, и тем только утешаюсь: увижу я свою подругу верную, поговорю с нею, потужу — легче мне будет... А Саша меня как встретит? И что с нею случилось? Правда ли, что люди говорят? И каково житье ей? Всю дорогу целую раздумываю про Сашу.

Вез меня наш деревенский старичок Прохор, сморщенный, тщедушный старичок и страх завистливый,— что б ни увидел в чужих руках, хоть там палку березовую, сейчас вздохнет: «Эх, кабы мне такую!» И все, бывало, он твердит: «Эх-ма! Кабы денег тьма!» По пути мы с ним села барские богатые проезжали, леса темные дубовые, поля широкие,— все он вздыхал: «Эх-ма!» Такой чудной был старичок.

V

Мы приехали вечером. Наша барыня жила среди города, на широкой улице. Все дома каменные, высокие, крыши железные, окна большие, и свет из окон на улицу вырывается; перед крыльцами фонари горят; по мостовой стучат дрожки, коляски и наша тележка тряская. Вечер темный был, время осеннее, тучи ходили — месяц хоронили, только звезды яркие

сверкали. Холодноватый и свежий ветерок веял.

Подъехали мы к белому каменному дому, в ворота постучались. Нам отворил бородач, тучный из себя и приземистый,— видно, кучер; гордо кивнул нам и что-то проворчал про себя.

VI

Мы за ним в избу вошли — почернелая, неубранная, лавки прожженные, столы шатаются, везде вода по полу разлита, зола рассыпана.

Повар тут сидел в белой куртке, сгорбленный, веселый старичок, плешивый, и два парня круглолицых, румяных, один в армяке, а другой в куртке, с пуговицами блестящими. Сейчас все они к нам бросились: давай осматривать, моргать, усмехаться. Повар нам кивнул головою: садитесь, отдохните.

Саши нету; спросить про нее боюсь. Прохор поглядывает да все вздыхает. Все сидим, молчим; а в разбитое окно ветер свечу задувает.

— Ну,— говорит кучер,— как же вы там, в деревне-то у себя, роскошничаете? Несеянную муку пожираете?

Так все и залились хохотом. И пошли тогда шутки да прибаутки, и тешились они, и пересмеивали нас, сколько их душе было угодно. Парни выходят из избы да и говорят нам:

— Ну, спасибо, что приехали! Хоть маленько мы вами тоску свою размыкали!

И вправду: скука их одолела всех, так рады были они хоть чем попало себя повеселить. Такие у них лица были недовольные, да заспанные, да скучные.

VII

Я с духом собралась и спрашиваю у повара про Сашу. Кучер услышал и перебил.

— Ты мне поклонись да у меня спроси! Вот гляди-ка. (Дверь отворил). Видишь, коморочка против? Там твоя Саша сидит, а вот у меня ключик от замочка. (Показал мне ключ из кармана).

Говорит он, а я смотрю,— какой тяжелый замок висит на двери! Саша ты моя, бедняжечка!

— Что ж,— говорю,— никогда она и не выходит оттуда?

— Как можно! Ей все пути скатертью, только вот за ворота со двора — не прогневайся!

— На что ж ее заперли?

— Есть таковая причина!

— Пустите меня к ней,— прошу его.

— С нашей радостью,— иди!

Отомкнул, я вошла — темно, хоть глаза выколи, там.

— Саша! Саша! — кличу.

Тихо.

Не ушла ли она куда, думаю, как-нибудь вырвалась...

Постояла я там и опять в избу вошла.

— Видела? — спрашивает кучер.

— Видела,— говорю.

— Радости-то, я думаю, не оберетесь, а?

VIII

Тут вошла быстрая крошечная старушонка; личико у ней остренькое, ехидное, ухватки воровские; все заходит с разных сторон, словно выискивает, где побольней щипнуть. Покружила, покружила она, да и говорит мне:

— Сегодня уж к барыне тебя не поведут; ложись, спи.

И ушла.

Сели мы ужинать. Сашу кликали — не пришла.

После ужина все спать легли в кухне, а я сижу в людской — не спится. Я сижу одна, да думаю, да жду: «Что ж это Саша не бежит ко мне? И где она? Ушла ли, или мне откликнуться не хотела?»

Шелохнулось что-то. Подниму я голову — стоит передо мною высокий мальчик, мне показалось. Гляну еще — это Саша! А волосы у ней в кружок острижены: высокая такая стала и худенькая; живые, ясные глаза впали, и румянец сбежал с лица.

Встала я, и она стоит.

— Саша,— говорю,— Саша!

Так-то мне ее жалко тогда стало!

Она ближе ко мне.

— Обними,— говорит,— обними же меня да поцелуй!

Обнялись мы и поцеловались крепко. И плакать стали пуще.

— Мать благословение тебе прислала, сестры кланяются,— говорю ей.

Она вспыхнула, а расспрашивать ничего не расспрашивает; да и мне-то не говорилось. Сидим обнявшись, да изредка словом перекинемся, житье старинное, детское вспомянем.

IX

На другой день к барыне меня зовут.

Полная она стала такая и величавая. Осмотрела меня с головы до ног, как зовут спросила и говорит мне:

— Смотри ты, не избалуйся! Избалуешься — косу отрежут, вот как Сашке, и накажут строго!

Рассказала мне, что делать, приказала, пригрозила и выслала.

И стали мы вместе с Сашей жить да поживать. Не красно было мое житье, а Сашино-то горькое какое! Всяк ее упрекает, всяк корит и смеется.

Пуще всех донимала ее ключница: так, бывало, и язвит, словно жалом.

Старик повар... да и тот не без того, чтоб чем не попрекнуть ее: он сердит бывал трезвый, ко всем, бывало, придирается, и бог знает за что. То покажется ему, что ты на него взглянула не так, то насмехаешься,— за что-нибудь да придерется. А когда хмелен, то уж и быть нельзя ласковей. Всех тогда хвалит; а его бранят — уговаривает, что нехорошо это. «Люди, в мире живите! — говорит.— Не скучайте, не ссорьтесь, делитесь всем друг с дружкой; кто хочет выпить — я позволяю; сам бы ему купил, да все уж пропил — потерпи; а самое главное — дружно живите!» Больше всех он Сашу любил и ласкал, когда пьян бывал.

Один только повар пьяный и не обижал ее. А то, бывало, кто чужой придет,— торговка ли знакомая, или соседская девушка, гости ли к кому из людей, либо к ключнице — все-то поглядывают, шепотом спрашивают, головою покачивают, руками разводят... А она, словно обвыклася с тем, не жалуется, не горюет.

Х

Я ей ни слова. Не надо ее тревожить, думаю, да раз вхожу в людскую (праздник был, господ дома не было, и люди разошлись), вхожу — печь топится, и Саша сидит на лавке, сама в огонь глядит, а слезы текут-текут.

Села я подле и рукой ее обняла. А она, на меня не глядя, рассказывать стала.

— Привезли меня сюда молодою, небывалою, и много я переплакала тогда. Все, бывало, вечерами плачу. Все мне чужое, все незнакомое, неласковое. Грусть-тоска была великая! Вот стою я раз на крыльце под вечер, да смотрю, да тужу; а уж весна шла: снег осел, почернел, под забором травка тонкая выбивалась; морозец еще держался,— ручейки, лужицы замерзали тонким ледочком. Солнышко красно и багряно заходит. Стою — так вспомнилась мне сторона моя милая! «Господи! — думаю.— Хоть бы глянула!» «Саша, чего заскучала? Не скучай, милая!» — слышу. Я сдивовалась-испугалась: гляжу — это баринов племянник молодой. Подошел, взял мою руку, пожал, еще на меня глянул и отошел. Испугалась я, и досадно стало: что он, пожалел, что ли? Пошутил надо мною, посмеялся? Ведь все они без жалости, без милости. Разве этот жалостливей? Глаза у него точно очень ласковые мне показались.

Задумалась я и долго все думала; тоска развеялась даже, только тревожна душа моя. Вспомнился мне тогда наш приезд, как он стоял перед барыней робко, как мешался, путался в разговоре за обедом. Вспомнилось, что он часто на меня из-за двери глядит, бывало. Что работаю я около окошка — он ходит мимо и смотрит. В эту ночь я и во сне его видела. Встала на заре и опять о нем вспомнила. И день целый он у меня из головы не выходил. А вечером я опять на крылечко выбежала: увижу ли его сегодня? Скажет ли слово мне? Выбежала, а он уж тут стоит, словно ждет меня. «Здравствуй, Саша!» А я молчу. Стоим — он на меня глядит... вот, чую — глядит, а сама глаз не подниму, слова не скажу. Тут стукнул кто-то, мы испугались и разошлись поскорей.

XI

С той поры каждый день я его там видела, каждый день. Сколько раз ведь зарекалась: не пойду я, не хочу, да и сама не знаю, как выйду. А он мне так рад бывал, в глаза мне, бывало, смотрит и все спрашивает: «Любишь ли, Саша?» А я, скажу тебе, я очень его полюбила, очень. Как стали люди замечать да посмеиваться, сначала мне стыдно и горько было, а там — я думаю: что ж, люди смеются,— пускай себе! Я люблю его, я его! Что ж мне о себе думать-то? Думай он. Хорошо ему, весело, что смеются — смейтесь; а обидно ему покажется — сам он знает, что сделать. А я послушаюсь его слова, его приказу. Вот живу я себе и не тужу. Дома мы почти не видались: следили за нами; и вот, бывало, куда пошлют меня — я ему шепну, и сойдемся где-нибудь в глухом переулке, под чужими воротами сядем.

XII

Только раз приходит он встревоженный такой.

— Саша! — шепчет мне.— Дядя и тетка узнали все!

У меня сердце заныло.

— Разлучить хотят? — спрашиваю.

— Не бойся, не печалься! — уговаривает. А на самом лица нету.

Сели мы рядышком и наплакались вволю тогда.

— Как же нам быть-то, Саша? — спрашивает.

— Тебе знать,— говорю,— тебе и решать.

— Эх Саша, Саша! Что я решу! Меня тоска, меня сомненье пугливое берет! Что делать — не знаю! Скажи ты...

— Да что? — говорю.— Уж как ты не надумаешь, уж как ты не знаешь...

— Ты, Саша, на меня не смотри и меня не осуди: сам я себе не рад, ей-богу! Все я боюсь...

— Чего ж боишься?

— Да уж с детства так. Отец-то у меня суровый был и строг. Забил он меня и запугал. Вот и теперь еще все мне его голос слышится: «Не храбрись ты ни в чем: беду наживешь! Иди по дорожке хитро да тихо — хорошо будет!» — Я ведь и тебя-то обмануть собирался, Саша; обмануть хотел и потом бросить,— ты прости меня! Не бросил: сил не было, потому что полюбил крепко... Скажи, Саша, скажи, что делать? Мучусь я, и голова кругом идет... Ох, Саша, если б можно мне было жениться на тебе!

— Женись,— говорю.

— А люди-то что скажут? Подумай-ка, Саша, как люди-то напустятся,— дядя, жена его злая еще пуще,— все! Все родные! Заклюют они нас, Саша! Умер бы я теперь с радостью!

И заплакал сам.

— Ну, умрем, коли хочешь,— говорю.

Он все плачет. И долго плакал. Встал потом и уверенно так говорит:

— Нет, Саша, грех умереть от своей руки! Будь что будет — женюсь я на тебе! Женюсь... Бог с ними со всеми! Что они мне? Чего бояться их? Женюсь, да и заживем с тобой!

Поцеловал меня и весел пошел себе.

XIII

Воротилась я домой — кличет меня ключница к барыне, сама злобно посмеивается: это она все барыне рассказала. Я пошла. Много тогда я наслушалась слов всяких, но до сердца те слова мне не дошли,— не оттого ли, что уж я знала их, ожидала... Я стояла перед барыней, слушала крик, и грозьбу, и брань, вот словно то далекий колокол гудел. *Он* у меня перед глазами носился, и все мне прояснялось кругом.

Целую ночь ту я глаз не свела,— думала, думала... Чего-то не передумала я тогда!

Утром господа чай пили,— вошел он. Я не ждала, что так рано он придет к ним. Я испугалась. Вижу, что и он не спал: бледный такой и усталый. Поглядел на меня, и тогда глаза у него блеснули, и отважный такой показался мне.

Господа удивились. Барыня неласково, сурово спросила:

— Что это значит? Откуда? Зачем?

Барин встал и по комнате стал ходить, потом опять сел.

А он все отважно им отвечает:

— Я пришел к вам с просьбою... Саша...

А барин его перебил:

— Да ну, ну, бог простит! Только смотри, чтоб вперед ты не глумил!

— Я не знаю, где совесть-то у твоего племянничка! — вскрикнула барыня.— Еще и разговоры об этом заводит!

— Да ведь от покорности, душенька; хочет прощенье получить от тебя,— говорит барин.

И заспорили меж собою. Спорят, а ему сказать слова не дадут.

Я-то все слышу и вижу из-за двери. Вижу, что он уж теряется, подбегает к ним, схватил их за руки и на колени сам упал.

— Отдайте мне Сашу, отдайте!

— Как? Что? Что?

И не поймут никак, что он говорит; вскочили, покраснели...

— Сашу отдайте! Я жениться на ней хочу!

— Жениться! — кричит барыня.— Ты с ума сходишь? Да ты помешался! Да ты пропадешь! Ты

погибнешь! Да тебя всякий добрый человек на порог не пустит!.. Как ты уживешься с простой девкой, с грубою, с глупою?

А барин курит, курит,— едва голова видна в дыму, и все покрикивает:

— Вот сумасшедший! Ах, наказал господь!

А он:

— Отдайте мне Сашу! — сам краешек барынина платья целует и за руки ее ловит.— Что ж, разве у простой девушки сердце не любит? Все мы равны перед богом, тетенька! Отдайте мне Сашу! Я умру без нее! Без нее я на свете жить не хочу!

Слушаю я, и жалко мне его стало!

— Пустите! — вырывается барыня.— Отстаньте! Как вы смеете со мною так говорить! Я не отдам девку! Что хотите делайте — не отдам! Подите прочь! Прочь!

Так он и упал рыдаючи. А барин ходит, да курит, да охает.

— Сашка! — крикнула вдруг барыня.

Я вошла. Она схватила со стола ножницы и кивнула мне, чтоб я подошла к ней,— я подошла. Она рванула мои косы — и стричь меня. Одну косу отрезала, на другой ножницы сломала. У самой у ней руки дрожат — рассержена.

Барин смотрит, остановился с трубкой. И он смотрит на нее, на меня, да только плачет слезно... А мне чего-то словно холодно стало,— вот будто какой-то ветер холодный обвеял меня и все от меня разнес далеко. Велит барыня мне рассыпанные, раскиданные волосы собрать и высылает меня.

Собрала я косы и вышла. Что ж? Я его добро; волен он был дать им меня. Только зачем же он отдал-то?

XIV

Барыня меня с того времени не велела спускать с глаз. Ключнице-то хлопот было! Недосыпала — все за мною следила. Только я шаг ступлю — за мной крик: «Куда? Куда?» И долго я его не видала. Не видала, и рада тому была. Вот, словно б я его совсем разлюбила. Не то что сердита я была, не то что обижена, а словно разлюбила,— не надо мне его.

Барыня долго меня донимала, долго гнала; потом он ходить перестал — забывать стала и бросила за него нападки. А барин и рад тому. Он тяжелый на подъем человек: обидеть ли, приласкать ли — трудно ему. Как уж рассердится, то после сколько дней сокрушается: «Зачем беспокоить меня? Делайте себе, что хотите,— меня не тревожьте, пожалуйста! Это все одно, что помешать обедать человеку!» Барыня не такая удалась; она вспыльчива и скорая на все: «Не хочу, не хочу твоего племянника на глаза пускать!» Барин сейчас согласен: «Не вели пускать, душенька: хоть оно и жалко немножко, да свой-то покой всякому дороже».

XV

Родился у меня мальчик,— такой крикунчик был, беспокойный! Хлопот мне было с ним много; ведь я невякляя была, молодая, а тут того нету, другого нету, то попроси у людей, то

посоветуйся с людьми. Столько мыслей, столько-то заботы мне было! Кругом все на меня глядят с усмешкой. Кто б ни зашел к нам, кто б ни заглянул,— даже и обидным-то словом не хотят укорить — брезгают. Вот разве ключница не стерпит — крикнет. Только повар ласкал нас, когда пьян бывал. Да, да, и забот было, и хлопот! А на душе тогда тихо как-то стало, тихо...

XVI

Одним вечером,— я жила тогда одна вот в этой самой горенке, где меня замыкают теперь, чтоб дитя криком не докучало людям,— вечером сижу я, слышу — крадется кто-то, двери осторожно отворяет... крадется *он*: Глянула я и не обрадовалась, и не опечалилась, только мне будто скучнее стало. Исхудал он и измучился. Много говорил тогда, много плакал и ласкал, дитей радовался... «Я,— говорит,— сегодня ведь целый день у вас в сарае прятался, мучился, так видеть тебя желалось...» Я все слышу, все знаю, жаль мне его, только он мне лишний человек совсем.

А он с того вечера опять ходит. Как дитя он любил! Часто я, бывало, гляжу на них обоих, часто. Мальчик очень схож с ним уродился: такие же глаза ласковые и облик весь в *его*.

Все мне жалче да жалче *его*, сердцем всем жалко стало. Бывало, я думаю-думаю,— ум за разум заходит. И что это случилось меж нами? Он ли виною, я ли причиною? Станет он, бывало, о своем отце покойнике рассказывать, станет горевать да жаловаться,— и мне отец покойный примстится¹: суров и тяжел, глаза у него ледяные, а грудь каменная, а голос повелительный. Сед он как лунь и страшен; и гнет он, и клонит детскую головку бессильную все ниже да ниже. А *его* я все себе дитею представляла, словно *он* дитя мое, и что рубят тому дитищу руку правую. Такая тоска меня брала всегда, а все слушать я любила про *его* отца покойного: покойник все предо мною застелет тенью своей, и мне жалче станет *он*, милее...

XVII

Захворал мой мальчик и помер... Что это за жизнь-то наша, господи! Уж и годится ли тосковать так по умершим, как я тосковала? Какая жизнь человеческая? Все-то неладно так, все-то неясно так!..

Он с горя, с печали сам заболел. Пошла я к нему. Рад был он мне, как уж рад! «Пропал бы один,— говорит,— не знал, как мне быть, что мне делать!»

А как в дверь застучали, он задрожал весь: «Кто это? Откуда? Что делать!»

А то за мною пришли: барыня прислала. Пришли и берут меня от него, ведут, а он провожает да плачет.

XVIII

Привели меня, и в другой раз косу отрезали. Теперь за мной велено всем присматривать; а если не время, то меня замыкать приказано. И вот уж три недели я со двора не выходила. *Его* с той поры не видала я. Повар встречался с ним сколько раз,— кланяется мне, говорит, и очень печален. Через него он мне обновки, деньги присылает.

Томится душа моя, и нигде душа успокою, нигде душа себе приюту не сыщет. Приехала ты — без слов мое сердце облегчила, без ласк поуспокоила. Спасибо, желанная ты моя!

И так схватила Саша, так меня в своих руках крепко сжала! И вдруг обессилела и, словно

разбитая, упала около меня. Грусть и мою-то душу сдавила. Обнимаю я ее:

— Усни,— говорю,— усни у меня на коленях!

— Ах, как же уснуть-то мне! — промолвила.— У меня из сердца будто горький ключ бьет, и кипит, и всю душу мою топит!

ХІХ

Думаю, я, думаю, чем пособить ей и как помочь, да и говорю раз:

— Саша! А схожу-ка я к *нему* да все разузнаю: веселей нам будет!

— Что ж знать-то? Сходи, коли хочешь,— ответила,— а веселей, видно, не будет!

— Не круши себя, Саша! — упрашиваю.— Ведь он тебя любит, сама говоришь, и ты его любишь,— не горюй. Расскажи только мне, куда идти и как мне узнать его?

— Да ты выйди вечерком на угол. Верно, он там стоит, меня ждет. А узнавай ты его по красе, по виду честному. Белокурый и кудрявый, шинелька черная на нем; а походка у него тихая.

Выждала я времячко — побежала на угол, а прямо навстречу мне *он*; я сейчас узнала.

— Саша кланяется,— ему шепнула.

Он вздрогнул и ахнул:

— Чья ты? Откуда?

— Я деревенская,— отвечаю.

— Ах, так это ты приехала недавно? Я знаю, все знаю, что там у вас делается, хоть сам и не бываю. Что мне Саша велела?

— Ничего, только кланяется.

— Или уже не любит она меня, что и словечка не нашлось у ней посердечней! Хоть от меня скажи ты ей, что нет мне ни сна ни покоя, что меня разлука сокрушает!

— Да что ж ей делать-то? — говорю ему.— Не ее воля!

— Ах, что ж мне делать! — вскрикнул.— Я б рад украсть ее, да как?

— Как же украсть? Трудно,— говорю,— трудно уж теперь горю пособить. Если б прежде-то вы порешили чем...

— Да, если б я знал-ведал все муки да все горе, я порешил бы. А то ведь опомниться не успел! Накричали на меня, нашумели, и грозят, и упрекают; с толку сбили меня, отуманили! Что ж Саша говорит?

— Ничего об этом не говорила.

— Ничего!.. Сердечная девушка — слава ей! Верно, живется весело и без меня,— тоска не обуяла?

— Эх,— говорю,— не вам бы на нее обижаться! За кого она теперь в четырех стенах-то замкнута?

— Как же быть? — вскрикнул.— Ну, я пойду к дяде, побегу! Я в ноги им кинусь, молить-просить их буду!..

— Вряд ли послушают.

— Да я Сашу видеть хочу! Пусть они мне голову снимут, а я Сашу увижу! Пойду!

XX

Я испугалась: что тут будет? Чтоб еще хуже не натворилось!

Он торопливо так к дому барскому идет, а я себе за ним бегу. Он к господам, я к Саше бросилась. Мечусь во все стороны, ей рассказываю да своим умом раскидываю, что будет; а она недвижно сидит.

— Саша! Что ж ты? — говорю ей.— У меня вчуже сердце замирает, а ты себе не шелохнешься, не шевельнешься!

— Ах, милая! — ответила, усмехаячись.— Сядь да утишься: не из тучи гром! Ты меня спроси, я лучше знаю — расскажу.

— Да ведь он к господам пошел!

— Знаю, что к господам пошел. И храбр он, пока идет; а лицом к лицу станет, руки у него опустятся — оробеет. Я знаю его; поверь моему слову!

Я все-таки успокоиться не могу, все жду — вот крик, шум, беготня поднимется. Но все тихо; часы идут. Не вытерпела я, прокралась к господской комнате; а там уж темно — спят.

Смущенная, я воротилась к Саше: что ж это такое?

А Саша только глянула на меня да усмехнулась.

XXI

На другой день Сашу шлют и за хлебом к чаю, Сашу шлют и к портнихе. Ключница рвет и мечет в гнев; кучер Саше ворота настежь растворяет, шутит с ней; повар (он в тот день тверез был) кричит на всех, швыряет дровами по избе. Парни хохочут. Я уж не знаю, что и думать.

— Саша! — говорю.— Что ты мыслишь? Как же это? Его послушались, что ли? Как же пускают тебя?

— Да, верно, ублажил их,— говорит.— Ты не тревожься по-пустому. Люди не враги себе: они подумали и все уладили себе не в обиду.

— Лучше ты, Саша, заплачь,— говорю.

— Видно, тебе слез-то девать некуда! У меня ж не обильно,— ответила.

XXII

Свиделась Саша с ним, но веселья у ней не прибыло.

— Что ж, Саша, рад-то, думаю, как был?

— Рад,— ответила.

— А сладил-то все это как?

— Поклялся им, побожился, что жениться на мне не женится. Присягнул им — теперь они спокойны: пусть его утешается!

— Хоть и обидно,— говорю,— да все тревоги такой не будет. А, может, после...

— Попусту и не надейся,— перебила меня,— он пуглив больно. Не всякую ведь любовь в люди показать хочется, милая! Как не цветно наряжена, не красно убрана, то дома, в уголке под лавку хоронят: «Сиди, любовь, утешай меня, а в люди не выходи,— осудят люди и хозяина пристыдят».

— Ах, Саша,— говорю,— он любит тебя!

— Ах, себя-то самого еще больше любит, скажу тебе.

— Нет, не грехи, Саша. Это его просто обошли, отуманили; потерялся он, а любить любит. Как убивался по тебе!

— А вот как. Мальчишка из чужого сада себе яблоко добудет, и бьют его за то,— ведь он плачет, а яблоко отдать не хочется. А спроси-ка ты — признаться-то стыдится.

— Все ты, Саша, горе себе выискиваешь, словно им только и живется тебе.

— Какое горе! Ей-богу, не горе! Так, мысли мои.

XXIII

Все она в тех мыслях, да думах, да в раздумье, мало говорила, мало и глядела на что.

А он тревожится, спрашивает ее, потом подозревать стал: «Другого любишь!» И как он плакался, жаловался! Как ее и молил горячо, и обижал горько!

— Саша, Саша! — говорю ей.— Подумай ты да уладь свои дела! Ведь измучитесь вы без толку. Как он тебе покорен, как любит! Ну, что тебе не по нраву, ты прямо скажи, просто научи его.

— На целый век не научишь, голубушка! Эта грамотка не дается ученьем. Нет, уж полно мне вчерашнего дня все искать.

— А зажили бы вы хорошо, этак в любви, в согласии тогда!

— При нашей бедности такие нежности! — смеется, а сама все о чем-то мыслит.— Знаешь,— говорит опять,— попросила б я смерти себе, да могила темна!

— Бог с тобою, Саша!

— Погоди, погоди! — перебила.— А он думает, что я другого полюбила, да кого же? Некого мне полюбить! Не хочу, не могу... Что тратиться по-пустому? Кто скуп, тот не глуп...

И, бывало, как начнет, то уж чего-чего она тебе не доведет.

XXIV

Господи! Какой содом у нас был тогда в целом доме! Барыня с барином ссорится, что на коляске прокупился; барин морщится да стонет; *наш* ревнует; ключница воюет с людьми... На нее, на ключницу, бывало, как найдет — по целым неделям так и жалит. Повар, слава богу, тогда пил все, так весел ходил и увещевал только, чтоб жили мы дружно.

XXV

Саша еще задумчивей стала и от *него* бегала. Никуда ее не вызовешь ни погулять, ни пройтись. Только в монастырь по воскресеньям ходила. Потом и к ней монахиня стала наведываться,— худая такая, хилая; ходила, на палочку опираючись, а лицо этакое спокойное,— оттого, верно, что все она молитвы читала. Прибрела раз эта монахиня, и Саша ее к барыне повела. Сидела монахиня долго там, и Сашу призывали, и барыня монахиню чаем угощала, и велела отвезти в коляске в монастырь. Спрашивала я у Саши:

— Что такое это?

— Погоди,— говорит,— все узнаешь.

XXVI

Вечером вижу — Саша узелок связывает. Удивилась я, на что она это делает... Вижу — и рубашки туда уложила, и деньжонки свои.

— Саша, да скажи, что это такое будет? Куда ты собираешься?

— Прощай, голубушка! — ответила.— Живи — не тужи, понемножку плачь, понемножку радуйся, за чужим не гоняйся, а своего... боже сохрани,— своего не трать! Помни, что глупому сыну не в помощь богатство.

Мне страшно стало: что с нею?

— Не бойся, не пугайся: я в памяти. А иду я в монастырь. Барыня позволила. Она боится отвечать за мою душу богу и позволила. Я завтра чем свет иду. Ты ему скажи сама об этом и поуспокой.

— Такая молодая! — говорю.

— Не старая, да бывалая. Да скажи ты ему еще,— попроси от меня: пусть не тревожится. Мне уж отдохнуть хочется. Я там отдохну.

XXVII

Господи, что с ним творилось, как узнал! Жалко было со стороны глядеть.

Я хоть изредка, а все ходила к Саше. Она там при монастыре служила. Там славно у них! Стоит монастырь тот за городом, на горе, в лесу. Через ограду в монастырский двор деревья зеленые свесились, и сама ограда зазеленелась, замшилась. Кельи темные, маленькие, а в окошечко

глянь — сколько цветов цветет! Какая мурава мягкая! Под горой, слышно, река журчит; а прислушайся еще — в городе колеса по мостовой стучат.

— Хорошо тебе тут, Саша?— спрашиваю.

— Хорошо,— отвечает.

— Покойно?

— Покойно.

Еще неречистее она стала. Разве о *нем* спросит иногда, как живет, да что делает. Я ей раз говорю:

— Саша, ты до сих пор о нем все вспоминаешь... не грех разве?

Она улыбнулась.

— Да,— говорит,— куда ж его, хоть и грех, девать? Промолчу,— разве простится?

— А не жалко тебе его? Скажи по правде!

— Нет, мне ничего не жалко.

Спрашивала я ее, что как это тебе на сердце пришло в монастырь пойти?

— Я часто сюда ходила,— ты знаешь,— и полюбилось мне. Тихо так тут, безмятежно. Я свою работу отработаю да и сяду где-нибудь. Сижу — листья шумят, река журчит; птицы поют и порхают, голосу людского не слышно мне.

XXVIII

Я сама сколько примечала, ей хорошо жилось. Так ее хвалили все в монастыре. И старая монахиня, что за нее у барыни просила, очень любила ее: идет, бывало, мимо — всегда ее благословит. Я уж рада, что она пристроилась, успокоилась. «Пусть ее живет в монастыре! Хорошо ей там»,— думаю. А она нежданно, негаданно и умри. И в монастыре-то никто не знал: никого не покликнула, а может, не могла покликать. Умерла она в своей келейке тесной да темной...

Я была, как ее хоронили. На дворе было ярко, ясно. Свечи кругом гроба пылали; пламя дрожало, а солнышко играло на ее лице. А такое у ней задумчивое лицо было, такое мученическое!

Он и до сей поры ходит на ее могилу и все молится там. Жениться не захотел. Я его сколько раз на могилке встречала. Такой печальный!

«Никто уж не повеселит меня так, как моя Саша покойница! Бог судья дяде и тетеньке!»

¹ Примстится — примерещится.— Ред.

Постійна адреса: http://ukrlit.org/vovchok_marko/sasha